

Денис Трусов



БОВЬ
И МЕРТЬ
В ХРОТНЕ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Денис Трусов

Бовь и смерть в Хротне

«Автор»

2023

Трусов Д. И.

Бовь и смерть в Хротне / Д. И. Трусов — «Автор», 2023

Прибывая в командировку в город Хротна, главный герой попадает в водоворот странных событий, ему предстоит много узнать о себе самом и о судьбе своего родного города, ему придется пережить городокрушение и избавиться от своего собственного трупа, а также расследовать тайну, связывающую всех, кто приезжает в Хротну в командировку.

© Трусов Д. И., 2023

© Автор, 2023

Содержание

Глава	5
1. Прибытие	6
2. Графинчик	10
3. Вечерний моцион	13
4. Зов Комбината	19
5. Завтрак при свечах	24
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Бовь и смерть в Хротне

Глава

1. Прибытие

Дороги – это болезнь, ярое, подлое состояние, когда знобит, рябит перед глазами. Лишь только кончается одна дорога – начинается следующая, а в конце следующей – я уже уверен – ждет ещё одна.

Мои дороги зашли уж слишком далеко, пора бы и честь знать, так мне думается; нужен же какой-то исход, поскольку я стоптал все свои тапочки со свинцовыми подошвами и сглодал все свои каменные хлебцы, я поседел за это время и у меня появилось брюшко и четыре продолжных шрама на щеке. И снова в пути. Кто? Куда? Я – в Хротну.

Сiju в купе и мои руки на коленях вытворяют диковинные упражнения. Гимнастика для змей. Полная прострация... Пять часов езды и одно попугайское крылышко... Так ненавижу эти купе, где сидишь лицом к лицу с другими людьми, пряча взгляд в непостоянство сосен за окном, краснея от каждой своей и чужой отрыжки, боясь сглатывать слюну и слишком глубоко дышать. Руки мнут носовой платок. Попутчик – молодой лысый парень в тельняшке – смотрит на меня в упор с отвращением, потом презрительно сплёвывает на пол и отворачивается к окну. Я встаю и иду в другое купе.

Я так давно не был с людьми, но тут – в этом поезде – они как-то слишком рядом.

Дорог в моей жизни было много и всегда случалось так, что путешествия были сопряжены со страхом, чувством опасности.

Красная дорога из детства, какой-то невообразимо яркий закат, я устал, в кармане лишь перочинный ножик, а впереди ещё много километров до деревни, потом кровь заката запекается, и вот я один на страшном необъятном струпе ночи, так хочется сковырнуть, а нечем.

А вот – ледяная белая дорога, которую я слабо помню, потому что плакал, я спотыкался, шёл, белый внутри, совсем-совсем снежный, совсем-совсем остывший, под ногами снег, в голове молоточки.

И полные приключений не прямые дороги, и беспросветно прямые и скучные, под солнцем, в садах жизни, в цветах июня и в боязливом дыхании апреля, подтопленные неприятельские дороги, выводящие и не выводящие к прекрасным долинам, дороги, крученные и вертикальные, дороги, по которым никто не ходил кроме меня и дороги, по которым я плелся позади всех, дороги, пересекающие сами себя тысячу раз и улиткины клейкие ленивые слизистые дорожки самоосознания. Тропинки вен на её руках.

И широченные автострады греха. Страх всегда позади и впереди, он мой преследователь и моя же цель, все дороги – дороги меж двух огней – огонь А и огонь В, страх всегдашний попутчик и охотник, мягколапая вонючая гиена, только и ждущая момента, когда я присяду на пенёк, чтобы съесть пирожок. Но я уже довольно стар и все свои гипотетические пирожки привык есть на ходу, а некоторые события открыли мне глаза на простую истину: остановиться – значит умереть. Поэтому, дороги мои – буквальные и всякие другие – теперь никак не смотать в клубок, никак не загнать назад в чортову лампу, они свиваются и пересекаются, шуршат и ползут, в вечном шевелении, мои дорогие проклятые дороги.

И снова, из эфемерности проваливаюсь во вполне осязаемую, раскалённую добела топку купе. Сiju, скованный злостной социофобией, не в силах пошевелиться, совсем потерявшись, не вполне понимая, куда я еду и зачем. А за окном пустыри и потемки, моя спутница – приземистая костогрудая женщина, ест сыр, она наверняка знает куда едет, я бы спросил её, но мне страшно, ух как мне страшно, такое сыроедение – это ритуал, таинственный и непостижимый, и я знаю, спроси я у неё сейчас что-нибудь – будет худо. Сырный бог, которому эта женщина посвящала свой ритуал превратит меня в рокфор, или того хуже – в сырок “Дружба”.

И я снова засыпаю и просыпаюсь. И женщина ест сыр и восходит луна и заходит луна. И женщина ест сыр, и приходит рыжий проводник в галифе, и просит предъявить билеты, и вос-

ходит солнце. Засыпаю снова, и сон мой примиряет меня и с моими дорогами, и с незнанием, и с обрядом сыроедения, только со страхом не примиряет, и потому дорога продолжается, и кажется, будто ей нет конца.

Ночью будит, потеряв за нос, проводник – вам скоро сходить. Улыбается.

– Мужчина, у вас чемодан упал с полки, – сонно говорит сыроедка, глядя на вонючее невеликолепие высыпавшихся из чемодана вещей.

Что за привычка брать с собой всё-что-потом-и-так-в-гостинице-постираю? Она внимательно смотрит как я, краснея, собираю с прорезиненного пола все эти замысловато дырявые носки и давнишние майки, пожелтевшие полотенца и чертежи, леденцы и брошюры. Разглядывая мои пожитки, она пытается составить обо мне мнение, а мнение это, по всей видимости, не лучшее. Я несколько раз извиняюсь и, схватив чемодан, выхожу в тамбур. Что же она подумала обо мне, важно ли это, почему мне стыдно? За окном леса, в голове голоса, передо мной дорога, за мной – страх. Во мне – бездна.

О, эта ухающая, совиная бездна! Сколько раз мне приходилось просыпаться в холодном поту и чувствовать, как где-то в животе бездна сдерживает неизбежный зевок, и я вставал и шевелил пальцами в рваных носках и отхлёбывал чай из кружки с клоуном, как лекарство, как чудодейственную микстуру. Но бывает порой, что бездна в животе не сдержится и черно зевнёт. Ну что ж.

Всякоже – я зевок бездны, всякожды я – зевок бездны, и мне не пристало задаваться и задира́ть нос. Тем более, глупо уверять кого-то в своей человечности. Моя бездна – страшная бездушь, бестелесная, непознаваемая, но не святая. Древняя, но не мудрая. Моя бездна – это нелюбовь мира, что с трудом сдерживает зевки, глядя на душевное, мудрое, святое. Ей не кажется, она знает.

Но всё что я знаю и всё что мне кажется – существует между зевками этой бездны, когда её страшный чёрный рот закрыт, и я снова собираюсь, и вырастаю васильками и одуванчиками на серых пустырях и на забытых погостах, и снова разглядываю грязные ноги в рваных носках.

Когда-нибудь я зевну в чьем-то животе. Я панически боюсь думать об этом. И когда у меня получается об этом не думать, тогда-то и случается моя жизнь.

Рассвет. Поезд уже въехал в город и замедлил ход. Мимо проплывали старинные каменные дома с черепичными крышами, площади, ясные светлые улицы. Мне стало легко и радостно, этот рассвет был моим рассветом, впервые за многие дни в пути я почувствовал сопричастность с солнцем, все большие многоэтажные нагромождения моих страхов и волнений разом смыло волнами чудесного майского солнца.

Хротна, пункт назначения, пункт излечения – здесь, передо мной. И не было страха разочарования, всё хорошее уже совершалось, все наилучшее – в небывалых светлых лучах, город жизни, город детства, город который приснился, а потом долго не снился и вот опять – Хротна, Хродна, Хародня, Хардинас или как тебя там ещё, мой многоименный многоликий друг?

И я вышел в рассвет совершенно доверчивым, тогдашним, из приснившегося детства, мальчуганом, а вовсе не лысеющим дядькой, и на широкой привокзальной площади кроме меня и солнца не было ни души.

Привет, Хротна!

Поезд позади тронулся, вот и всё, там осталась женщина, поедающая свой священный сыр и бритый молодчик в тельняшке.

А я уже совсем здесь. Я вернулся в приснившееся неспящим, а может – спящим в неприснившееся. Я на пути из неведомого в несуществующее. И когда я стоял так, лицом к пустой привокзальной площади, вдруг пришло одиночество – тысячегранное, трезвое, острое, многоядорежущее. Я тут, да, но как же мне одиноко!

Нестерпимо захотелось проснуться – пьяным блаженным румяным рабочим у станка в ночную смену, покачать головой, мол, приснится же, и снова взяться за вытачивание втулки.

Или теплым малышом – пробудиться от кошмара в кроватке-манеже, и плакать громко-громко, чтобы появились из темноты две гибкие добрые руки и гладкая щека и родной голос, и стало бы хорошо. И казалось, будто упорство, с которым я ожидал чуда пробуждения, было настолько велико, что не могло оно быть просто глупым упрямством, казалось, будто мое отчаянное желание дожало, дотолкнуло, включило где-то в шестеренках мира какую-то хитрую передачу, которая направила работу всех механизмов в правильную сторону.

Да-да, как в детстве в сказке – фея сказала какой-то падчерице, мол, если чего-нибудь действительно очень захочешь, то оно непременно сбудется. И я помню, что провел несколько бессонных ночей, сосредоточенно желая заполучить настоящие боксерские перчатки и ежедневно транслируя свое “очень хочу” куда-то в небо, бюсту Маяковского на книжной полке, и на всякий случай в сторону синагоги. Но перчатки так и не появились, и я потом долго ненавидел сказки. Правда, спустя некоторое время я опять полюбил их – вплоть до того, что сам стал писать. И хоть шестерни мира всегда крутились и вертелись так, как им заблагорассудится, я был по большому счету счастливым человеком, вернее, не нуждающимся в подаренных небесами боксерских перчатках, и такое напряжённое упорство, такая отсердечная молитва как сегодня, нужна была мне в жизни до этого всего раз. И вот – снова.

Я знал, что сейчас случится что-то хорошее. И на этот раз мне обязательно выдадут мои боксерские перчатки.

Всё это время площадь казалась совершенно пустой, пока вдруг, отделившись от какой-то стены или ограды, возникнув словно из ниоткуда, цокая каблуками и крича ещё издали, появилась Она:

– Простите, что не успела на перроне вас встретить вовремя. Моя лошадь скончалась по дороге. Мне очень жаль. У меня нет имени, но есть синий свитер, скажите, как вы доехали? Устали с дороги?...

Слова “с дороги” она произнесла, уже подойдя ко мне вплотную, почти касаясь моих губ своими. Она действительно была в синем свитере, пахла будущим и земляникой, у неё были голубые глаза, и я отражался в них, и рассвет гладил меня по лицу мягкими оранжевыми перышками, и мне на мгновение показалось, что я ехал именно сюда, в эти глаза, а не в этот город. Синий Свитер коснулась носом моего уха и сказала тихо:

– Мы забронировали вам номер в гостинице, это рядом. Смотрите – вон улица слева, идите по ней, пока в самом конце не увидите неоновую вывеску. Гостиница никак не называется, но на крыше у неё есть неоновая вывеска с надписью “Неоновая вывеска”. Понимаете? “Неоновая вывеска”. Отдыхайте, отоспитесь, я приду к вам в пять вечера. А мне надо сейчас похлопотать о моей покойной лошади, простите меня и до скорой встречи.

Она тут же исчезла, будто снова прильнув к какой-то невидимой стене. Как же хотелось мне поговорить с ней ещё чуть-чуть, дорасспросить – и о себе, и о Хротне, посмотреть снова в эти глаза, а тут – мертвая лошадь вклинилась. Ну что ж.

Мне ничего не оставалось, как искать “Неоновую вывеску” на «вон улице слева», название которой я когда-то – в давнишнем сне о Хротне – помнил, а теперь начисто забыл. И я шёл, глядя по сторонам, будто разгадывая знакомый кроссворд: вот номер один по горизонтали – бетонный дом-муравейник, там жил мой одноклассник – первая буква его имени – Р, третья – М, всего пять букв. Он давно эмигрировал, отслужил в тамошней армии, женился на тамошней женщине, но я всё равно помню его противостояние на уроке физкультуры с самым нехогвартским в нашем омпетианском Хогвартсе краснокостым физруком Карпенковичем, они оба вспылили, и Р..н, стоявший в строю, вдруг вышел вперёд и сказал:

– Вы же хотите меня ударить, я вижу, так не стесняйтесь! Бейте!

Всего пять букв...

А вот слева – один по вертикали – большущий, похожий на корабль, врезающийся в гладь привокзальной площади дом-Титаник, доминирующий над местным пейзажем – там жила моя

первая приснившаяся любовь, последняя буква Я, всего три буквы. Когда я приходил к ней в гости, мы слушали или отцовский бобинник, или бабушкины пластинки.

И дальше, и дальше, по старой брусчатке я тащил свой несчастный багаж и разгадывал кроссворд, вспоминая имена и названия магазинов, клички чьих-то давно уже мёртвых собак, кошек, хомячков и морских свинок, и имена давно уже мёртвых швейцаров, и дедов с прапра-прадедами, и перекрещённые в переименованные и припечатанные жарким клеймом “Отныне считать человеком и считаться с оным”.

Кроссворд не получался, не сходился, мне всё не хватало букв, мне всё не хватало слов, но я был счастлив, это ведь теперь было делом времени – вспомнить имя своей первой любви с привокзальной площади и номер телефона, и как звали ту её кошку – 12 по горизонтали, девять букв, первая Ц. И вот, семь по горизонтали – как меня назвала мама, когда в том приснившемся прошлом мы шли по этой улице в зоопарк – первые три буквы СОЛ, всего восемь букв. Всё вернется, всё снова настанет. И я тоже настану.

Солнце совершенно уже осмелело и ворвалось на улицы, и мне на мгновение показалось, что я ехал не к тем голубым глазам и даже не в этот самый город, а именно сюда, в само распрекраснейшее солнце. Город был очень похож на тот, из моего сна, но как только я думал об этом, я тут же замечал какую-то немыслимую деталь – например, в парке возле ручья стоял величественный позолоченный монумент в виде швейной иглы, устремившейся острием в небо или вот – под ногами квадратные канализационные люки, отродясь таких не видел.

И вот я шурился по сторонам и шёл не спеша, разгадывая свой небывалый кроссворд, удивляясь всем маленьким открытиям по пути, когда улица вдруг кончилась у оврага, и слева из-под земли выросла старая, мрачная, и будто совершенно игнорирующая солнечный свет, разгулявшийся теперь уже повсюду, гостиница с неоновой вывеской “Неоновая вывеска”.

2. Графинчик

В холле гостиницы было темно. С порога я попытался хоть что-то разглядеть в этом черном и тихом пространстве, но массивная входная дверь с грохотом ударила меня в спину и толкнула вперед, в неутреннее гулкое нутро здания.

И будто не было солнца только что, будто не было голубых глаз на площади, будто сырненький бог так разозлился на меня там, в поезде, и сослал в ад.

В аду напротив входа была старая конторка, её я разглядел первой, когда глаза привыкли к мраку. Слева и справа за конторкой вверх уходили частые крутые ступеньки со старыми, похожими на слоновьи хоботы перилами. Со стен в холле смотрели еле различимые портреты, серые и внимательные, смотрели так, что я с испугу с грохотом уронил чемодан и захотелось уже повернуть назад, к двери, но тут на шум из-за конторки показалась сонная голова. Голова была седая, недовольная, с хватким, тяжёлым взглядом. Возле головы что-то чиркнуло, зажглась керосиновая лампа и голова сказала:

– Товарищ командировочный, вы не пугайтесь, здесь всегда темно, подойдите ко мне поближе, не споткнитесь только.

Я подошёл к конторке, голова посмотрела на меня и улыбнулась. Я тоже улыбнулся и несмело сказал:

– Доброе утро, мне сказали, что тут для меня забронирован номер.

– Разумеется, забронирован. Сейчас я вам выдам ключ и всё покажу.

Голова вместе с лампой вышли из-за конторки, оказалось, что это крепкая старушка, одетая в ночную рубашку с накинутым поверху пиджаком, на лацканах пиджака красовались странные, неизвестные мне медали и ордена. Один из орденов мне удалось разглядеть: на фоне красного щита символическая золотая игла с ниткой и надпись золотыми же буквами “За безупречный стежок”. Странный орден. Ну что ж. Я поблагодарил голову и сказал:

– Вы назвали меня командировочным, но я даже не успел представиться. Почему? Неужели все ваши постояльцы – командировочные?

– Сегодня – все. Поднимайтесь-ка по лестнице за мной. И не пугайтесь так темноты, видите ли, это очень старая гостиница. Люди иногдаглохнут да слепнут от старости, а вот моя гостиница от старости померкла. Не бойтесь, в номере есть свечи и керосинка. Электричество внутри, увы, не держится, тоже меркнет. Только вывеска снаружи и светится. Да, можете звать меня пани Гловска, я рада, что вы здесь поселитесь.

Я почувствовал себя очень странно, но лишь на секунду, не успев понять причины. Я замешкался, однако пани Гловска показала на лестницу справа, и мы стали медленно подниматься. Ступеньки ужасно скрипели, а блики от керосинки танцевали на стенах в такт нашим шагам и от этой игры света и звука казалось, что всё здание гостиницы медленно и хрипло дышит, будто старая уснувшая от изнеможения туберкулезница. Мы очутились в узком гостиничном коридоре, и зашагали по визжащему паркету. Казалось, старая чахоточная вот-вот отдаст концы. Мы остановились перед основательной старомодной дверью, пани Гловска открыла замок и протянула мне ключ, приглашая внутрь.

– Вот и пришли, одиннадцатый, хороший номер, бельё уже приготовлено, заселяйтесь, располагайтесь, отдыхайте, я не буду вас беспокоить. Лампа и запас свечей – на столе.

– Спасибо. За мной придут около пяти часов вечера.

– Я могу постучать в дверь около половины пятого, чтоб вы не проспали, на всякий случай. И вот ещё – не открывайте окно, оно неисправно.

– Хорошо, отлично.

Пани Гловска вошла со мной в комнату, помогла справиться с норовистой керосинкой и удалилась под истошный визг паркета. Я сел на кровать и осмотрелся. Даже при таком слабом

освещении номер казался большим. Прямо посредине, изголовьем к окну, стояла внушительных размеров кровать, разделяющая комнату на две части. Слева от входа громоздился старинный несуразный гардероб, больше напоминавший хаотично разросшийся во все стороны гроб. За гардеробом стояло вручную расписанное цветочным орнаментом аляповатое трюмо с небольшим столиком, а далее – узкая дверь в уборную. Справа от входа был не то сундук, не то ящик, а сверху на нем, на подносе стоял графин с двумя пустыми стаканами. Дальше у стены – зеленое потертое кресло, а возле него, в углу – совершенно космической обтекаемой формы журнальный столик. У окна, напротив входа был солидный письменный стол с чернильницами, канцелярской всячиной и принадлежностями для письма пером. Подойдя к окну, я едва смог разглядеть – словно сквозь тёмно-коричневую пелену, через бутылочное стекло – неказистый внутренний дворик гостиницы. Впрочем, там был лишь проржавевший до дыр гараж и кучи строительного мусора.

Странно, ведь кроме Синего Свитера и пани Гловской я не встретил сегодня больше никого в этом городе. Пусто-пусто-пусто, целый город, а в нём пусто – пропел я себе под нос, и хотел было начать распаковывать чемодан, как вдруг за спиной у меня кто-то тихо заметил:

– Не так уж и пусто на самом деле. Просто сейчас утро.

Обернувшись, я увидел мужчину лет пятидесяти, со всклокоченной волнистой шевелюрой, одетого в просторный шлафрок. Мужчина смущённо улыбнулся.

– Надеюсь, я вас не испугал. Я ваш сосед из тринадцатого номера. Выпьете со мной?

Не дожидаясь ответа, он потянулся к сундуку и в одну секунду ловко разлил прозрачную жидкость из графина в оба стакана.

– Это неплохой местный бимбер, вам понравится.

– Как вы сюда попали? Дверь же закрыта.

– Это не важно, но простите за вторжение, это и вправду должно быть неприятно. Но раз уж я тут, давайте присядем и жажнем. Ещё раз прошу прощения.

Теперь я смог разглядеть его получше. Он был полноват. Румян. Лицо добродушное с хитринкой. И только выразительные, необычайно печальные глаза были совсем неуместны на лице залётного гостиничного балагура. Стоило встретиться с ним взглядом, как добродушная усмешка текла вниз, превращалась в гримасу глубоко страдающего человека. Впрочем, я мог и ошибаться из-за скудного освещения.

– Я измучен долгой дорогой и собирался поспать пару часов. Что ж, думаю, немного вашего напитка мне не повредит.

Я хотел добавить ещё кое-что, спросить его о чём-то необычайно важном, о чём я вспомнил только сейчас, но тут же с удивлением понял, что уже забыл, что это было. Ну что ж...

– Вот и славно. Это ведь целебный бимбер, чистый, на воде из местной родниковой речушки, Комарыхи, не какая-то там сивуха. Ну, за знакомство!

Мы выпили. Я, опешив от своей странной забывчивости, опрокинул сразу полстакана. Мой гость – полный. Переводя дыхание, мы помолчали немного.

– Вы командировочный, правильно? А я... меня звать Графинчик. И уж поверьте, Графинчик не будет ждать, пока в графинчике остаётся благая влага.

Он коротко хихикнул своей шутке и налил ещё.

– Вы давно здесь живете? В Хротне?

– Всегда только в Хротне. Это отличное место. Вам здесь наверняка понравится.

И тут я снова провалился в это странное, длившееся всего секунду состояние: я вспомнил и мгновенно забыл, о чём мне срочно надо было спросить Графинчика. Но в течение этой короткой секунды я испытал запредельное, поразительное отчаяние, такое сильное, что меня передёрнуло. Почему, из-за чего?

Мы молча выпили. Я почувствовал, как внутри меня течёт чистая огненная река Комарыха.

– Давай на «ты», командировочный.

– Давай.

Он вдруг внимательно посмотрел мне в лицо, взял за рукав и, придвинувшись сказал:

– А хочешь, расскажу что самое главное во всех этих закулисах?

Ох, только не это, подумал я, только не теории заговора, ну почему пьяным людям кажется, что им вдруг становятся понятными какие-то таинственные интриги мироздания, скрытые механизмы общественной и духовной жизни, почему? Даже если такие механизмы и интриги существуют, их наверняка создают и эксплуатируют абсолютные трезвенники и прячут концы в воду так, что никакие Графинчики, Пивасики и остальная лихая алкобратия вряд ли в состоянии их так спьяну разоблачить. И я хотел было об этом заявить Графинчику прямо в лицо, но спохватился, вспомнив, что у каждой пьянки есть своя нехитрая драматургия, нарушать которую – великий грех. И следуя этой драматургии, вслух я сказал лишь:

– В каком смысле в закулисах? Ну... расскажи...

– Суть довольно проста, командировочный. Равновесие. Мы не умеем его соблюдать и поддерживать до тех пор, пока не понимаем, что сам наш язык даёт подсказку. Флексии, префиксы, всё это неспроста! И когда знаешь, как соотнести слова, то знаешь, и как соотнести поступки, соотнести так, чтобы равновесие сохранялось. Вот два основных правила, которые ты должен помнить, которыми ты должен руководствоваться:

Первое: С -филиями борись -фобиями, с -фобиями борись -филиями;

Второе: С -софиями борись -измами, с -измами борись -софиями.

Тут Графинчик замолк и хитро прищурился, выжидая, пытаюсь понять мою реакцию. Мне же всё что он сказал казалось полнейшей чушью. Но помня о драматургии, я деликатно протянул:

– Очень интересно, Графинчик.

– Да ладно, ты же ни черта не понял. Ну признайся, командировочный!

– Нет, я понял, понял, ну, например, м-м-м, это как если гемофилию побеждать гомофобией, или философию – онанизмом, нет?

Графинчик с досадой махнул рукой и налил ещё по стакану. Я попытался увидеть в этом бредовом словесном потоке печального выпивохи хоть какую-то систему и задумался, но тщетно. Демагогия и всё тут. Зачем только мне это рассказывать?

– Знаешь, Графинчик, я тебе честно скажу, мне твои слова непонятны. Но мне кажется, что ты всё усложняешь. Всё проще...

– Это как, проще?

Огненная речка Комарыха в голове отвлекала, звенела, струилась, мешала думать, но вдруг меня осенило. Ух, ты! Я собрался с мыслями и сказал:

– Софии, филии... Боже, ну и чертовщина... Итак, всё гораздо проще, Графинчик. Есть -бовь и – мертв. И всё. И только о них надо знать и только они друг друга побеждают. А мы – всего-то мимолетные флексии, сменяемые приставки к этим двум словам. -Бовь! -Мертв! Слышишь себя в этих словах?

Он рассмеялся:

– Ну, ты даешь! Теперь уже я тебя не понимаю. Это же лин-гви-сти-чес-ки невозможно! И что у нас только за разговоры. Выпьем-ка по последней.

– Я предлагаю тост.

– Ну-с?

– За -бовь и -мерть!

– В Хротне! – воскликнул Графинчик.

– Да, за -бовь и -мерть в Хротне!

И мы чокнулись.

3. Вечерний моцион

Захаркало, заклокотало, захрипело, зашлось глухим страшным кашлем старое умирающее существо. Кашель этот был нестерпим, громок и беспощаден, он горячим свинцом лился сквозь уши в мою глотку, в желудок, проникал в каждую клеточку, и голова уже готова была взорваться от боли, но кашель и клототания несчастного агонизирующего существа лишь нарастали.

Когда злосчастное чахоточное крещендо достигло предела, и меня вырвало, в дверь постучали.

Я открыл глаза. Меня вывернуло прямо на кровать, я лежал поверх одеяла в одежде. Чорт, надо же было так напиться. Графинчика и след простыл. Ох, уже должно быть полпятаго. Я всё ещё был пьян. Пани Гловска пришла разбудить меня!

В дверь стучали чуть настойчивей.

– Просыпайтесь, у меня для вас новость. Откройте, прошу вас.

Чертыхаясь, я набросил покрывало на блевотину, встал и открыл дверь. Пани Гловска совершенно преобразилась, если утром она выглядела как старая фронтовичка, то сейчас... Вместо расхристанной ночнушки и пиджака, на ней было строгое черное платье с элегантным кружевным воротничком, седые волосы аккуратно подобраны и даже лицо её – ещё утром носившее то единственное неизгладимое выражение, свойственное беспощадному племени вахтерш – сейчас это было лицо благородной дамы, проницательное, умное, вдумчивое. В одной руке пани Гловска держала керосиновую лампу, а во второй поднос с фруктами – нарезанными сочными яблоками и грушами на фарфоровой фруктошнице. Увидев меня, пани Гловска нахмурилась.

– Позвольте войти.

– Да-да, разумеется, – стыдливо пробормотал я.

Пани Гловска поставила поднос на стол, окинула номер взглядом и покачала головой. Затем она подняла лежащий на полу графин и отнесла его на место. Грациозно ступая по комнате словно балерина, она начала говорить.

– Полагаю, вам довелось иметь неудовольствие познакомиться с Графинчиком. Что ж, я должна объясниться. Вы, наверное уже задались вопросом, зачем я живу в этой меркнувшей гостинице. Она стара и больна, она избегает солнца, будто древний бледный вампир. В Хротне многие здания когда-то померкли, вы ещё сами убедитесь. Этой гостинице повезло, потому что у неё есть я. Мы были вместе ещё до того, как померкли дома. Я – бывшая графиня из рода Гловских, наш род был богатым и весьма уважаемым в Хротне. У нас было имение за городом, в сказочном лесу, на берегу речки Комарыхи. Каждое лето наша семья проводила в имении, а зимовали мы обычно в одном из принадлежащих нам домов в городе. Как-то осенью в город приехал табор странных людей. Они сказали, что есть люди красные и люди белые. И белых надо убивать, а если ты бесцветный, то должен убить белого и тогда от крови убитого станешь красным. И начался масакр. Нашу семью, как и многие другие, объявили белыми и тех, кого они застали в городе, зверски замучили. Я же, вместе со старшим братом, по случайности в ту пору оказалась в имении. Но и за нами пришли бесцветные – наши вчерашние добрые соседи. Брата схватили, связали руки и долгие часы подтапливали в Комарыхе, вытаскивая из воды, как только он терял сознание, а меня заставили смотреть на это. А когда он совсем захлебнулся, тело его так и оставили в воде, оно уплыло вниз по течению и никогда не было предано земле. Я тогда была совсем молода и красные решили, что я искупила свою вину смертью семьи, и у меня есть шанс начать новую жизнь. Я устроилась швеей на Комбинат и прожила так большую часть своей жизни. Призрак моего брата стал появляться там, где люди пили из графинов, и предлагать им воду из Комарыхи, которой наглотался перед смертью, превращая её в самогон.

Теперь он совсем спился и стал не графом, а так – Графинчиком. Но я всё равно люблю его, и в каждом номере расставлены графины, чтобы он мог жить здесь, когда захочет. Он дал мне обещание, что не будет беспокоить гостей, но, как видите, не сдержал своего слова. Прошу, примите мои извинения.

Я пробормотал, что, мол, да, конечно, ничего страшного. Пани Гловска остановилась возле окна и продолжила:

– В Хротне много призраков. Там, откуда вы приехали водятся призраки?

Я пожал плечами:

– Я не помню...

Пани Гловска улыбнулась и кивнула.

– В любом случае, что бы вам ни наплёл сегодня Графинчик – не верьте ему. Вообще никому не верьте в этом городе.

– Даже вам?

– А это сами решайте... Да, мне прислали записку с нарочным – ваша сегодняшняя встреча перенесена на завтра. Они очень просят извинить их и желают вам приятно отдохнуть этим вечером. Может быть вам прогуляться, посмотреть город, а я пока приберусь здесь.

Я посмотрел на проступившее на покрывале пятно и покраснел. Пани Гловска перехватила мой взгляд.

– Не беспокойтесь, это моя работа, я привыкла. Обязательно скушайте хотя бы грушу, это освежает. Примите душ и идите гулять, я буду внизу.

Она прошагала к двери и была уже на пороге, когда я окликнул её.

– Пани Гловска, а вы – красная?

– Я – сиреневенькая. Всегда была и всегда есть – сиреневенькая, – строго и с достоинством ответила она и вышла, закрыв дверь.

И когда неизбежная чахоточная паркетная соната в коридоре отзвучала, я остался один на один с подслеповатым зеркалом, потухшим окном, сонмом призраков давно умерших хротненцев, ворохом вспятей, необставленной собственной жизнью в старомодно обставленной комнате, блевотиной на кровати, отложенными на завтра такими милыми голубыми глазами и синим путеводным свитером, с предстоящей прогулкой не то по городу, не то по приговору. Я хотел бы стать этим конкретным надежным, безвариантным, обречённым на деревянность и угловатость гробоподобным гардеробом, или глупым щенком; я предпочел бы слушать как изнутри меня медленно и неумолимо гложет жучок-короед и сосёт, и целует душевно Тохосага сапiс и знать только такие деревянные сучковатые или щенячьи хлопоты, но не совесть, но не самость. Я хотел бы с гордостью заявлять: я всегда был – имярек из палитры, я не полутон, не оттенок, не пастельная полууверенность, не акварельный несмелый потёк – я бы был чёрным грифельным злым карандашищем, и меня бы выбирали из коробки, чтоб нарисовать чорта, ночь или безответную любовь. Я наверное даже хотел бы навсегда поменяться местами с Графинчиком, жить в пьяных сомнабулических циклах, быть цитатой без автора и глотать переглотанное, и пугать, и запутывать постояльцев, и превращать воду в комарыхинский бимбер, и каленой антропософией изничтожать постмодернизм, и одного хариуса чудесно перевоплотить в тридцать пять форелей, и по обочине цирка гонять карликов с накладными носами, быть Пьеро в бесконечной inferнальной некроклоунаде, но зато быть и братом пани Гловской, и знать о её заботе, и иметь свое место в не-месте, и графинчики в каждом номере, и память. Я бы без промедления поменялся местами даже с этой промозглой агонизирующей доходягой-гостиницей, я бы кашлял, мерцал, изрыгал, отхаркивал, меркнул и угасал, и пани Гловска спускалась бы и поднималась по моим ступенькам, и я согласился бы даже на легкомысленную неоновую кокардку на черепичной крыше, и чтоб текли потолки, не текло электричество, вспалённые окна слезились, но только бы не быть собой больше, не угадывать, не выбирать, не происходить, не решать, не придумывать. Я хотел бы стать прирученной вещью, хоть голем-

ной глиняной свистулькой, хоть атомом радия, хоть стереоскопической открыткой из ГДР или фигурной отверткой, хоть индейской погремушкой с человеческими зубами, хоть скальпом Гойко Митича, хоть старой открыткой из Аргентины с белозубой Одри Хепберн, похороненной под тройным слоем обоев, хоть контурной картой для двоечников, хоть закрашенным на заборе стыдливými нематематиками интегралом – всё ж полезнее и всё ж затейливее и понятнее, и веселее, чем сорвавшийся с цепи Цербер совести, чем фото в паспорте, чем когда моя мама в параллельном другом измерении, отец на сорочинской ярмарке или далекой войне, а меня прямо тут и сейчас жалят страшные болючие осы и хочется на горшок. Я здесь был или не был раньше – разве это хоть сколь-нибудь важно? Превратите ж меня, раскудесные магическо-волшебники, всемогущие деда морозы, шапокляки-шептуньи, знахарки, превратите в дверную послушную ручку или девичий гребень. Пусть чудесно повиснут на шее те, не нашедшие меня в детстве боксерские перчатки. Так живут миллионы, так существуют хикки, так умирают полевые цветы, так лишаются красоты.

И это я так не пьян, это я так жив.

Надо выйти, сменить декорации, прямо сейчас – гулять по вечернему Хротне. Нагулять аппетит, нагулять смысл. Пройтись. Освежиться.

В ванной комнате кран, пар, омывание, благоденствие, мыло, чистые руки, Понтий Пилат, скрипящие от крапивного шампуня волосы.

Фаянс, в зеркале профиль, анфас.

Хротна, давай притворимся, что мы видим друг друга в первый раз.

И в таком растворённом, раздёрганном, и весьма ещё накомарыхином настроении я вышел из номера. Я был пьян собой и неведением. Я был не в себе.

И пани Гловска что-то говорила мне вслед, и звенела медалями, и серебряными ложечками, и утренними колокольчиками, и держала за руку, и молилась на греческом, польском и поздненеандертальском, и жестикулировала на общепрямоходящем, но я не слушал её, я выдергивал руку, я сворачивал за угол, я решился побыть, послушаться, важно стало только то, что теперь – и больше ничто. И вот улица, заструившаяся, черепичная, хваткая, резвая, по которой цокали лошади и шуршали троллейбусы, улица, у которой было семь имен и девять названий, повела меня за руку, взяла за удила, потянула вперёд, чтоб увлечь, чтоб украсть.

И украла, и понесла, больно ударяя о свои каменистые берега, и там на берегах этой улицы с семью именами и девятью названиями я видел кафе, в которых никогда не было кофе, и детские сады с густыми кустами крыжовника и акациями, в которых никогда не было детей. И парки культуры и отдыха, в которых не было ни культуры, ни отдыха. Я видел матерые хитрые памятники, которые толпа прогоняла с постаментов, и они широким разудалым чугунным галопом перебежали на другой постамент, где стояли и ждали пришествия новой толпы. И я видел дороги, мощеные разбитыми могильными плитами, нехорошие паучинные флаги на площади и чужие деловитые танки. И течение несло, всё вокруг эпизодилось, без конца и начала, мелькало как в калейдоскопе. И меня обманывали – то зрение, то компас, то интуиция, то случайный цирюльник мне кричал: “у вас слишком длинные волосы, слишком пушистые облака и суждения”, то плакаты с тумб Морриса велели мне: *stój!*, *halt!*, *shteyn!*¹, остановитесь, притормозите, попробуйте взяться за поручень, попробуйте быть как все, улыбайтесь во время торможения и движение станет домашним, понятным, омаршрутится, отбилетируется, и один лишь удар по ручке компостера, ржавый лязг и вы с нами по праву – очень просто стать пассажиром этого города, надо всего-то бросить пить.

Но я – нет, но я – пил безбилетный в многорюмочных, в кое-как-кабаках, в грязных тёмных тавернах, в обречённых вонючих трактирах, чебуречных, быстро и лихих питейных домах – эту лютую, совсем не комарыхинскую, бряклую, хищную, пресловутую, ту самую, от которой

¹ Стой! Остановитесь! (польск, нем, идиш)

вымирают целые страны, мёртвую воду и анкор, и анкор, и анкор... Только пить до поры безбилетному страшно – вдруг поймают и ссадят, и пока не настала пора – я хотел перестать, удержаться. И я познавал тёмные стороны светлого пива и полнокровие красных дешёвых винищ, скатываясь, пьянея ещё больше. Я зашел в случайную ресторанный ванную комнату, там торчал обтекаемый, взятельный поручень. И я брался, хватался за поручень. Видел в зеркале – вот и я, вот и тут. Хватит пить, stój!, halt!, shteyn! Ой, в кармане вдруг как-то чудесно очутился пробитый билет. Я почувствовал вдруг, что от этой моей фаянсовой панической остановки до Синего Свитера было совсем близко. Сердце ёкнуло, но куда повернуть, куда выйти, в какое окно постучать – я не знал. Синий свитер – самое важное, но недоступное, тайна и любовь всей моей жизни, дама треф, спрятанная в колоде города, колоде краплёной матёрыми шулерами, потусторонней колоде, в которой кроме Синего Свитера я больше и не знал ни одной карты.

И я почувствовал пьяную лихую нужду – принять вызов, разыскать её, сыграть и выиграть в эти адские пряточки, пьяному же море по колено и Хротна по щиколотку и вот: раз, два, три, четыре, пять – я пошёл искать!

И когда я искал Синий Свитер, бродя по замысловатым лабиринтам пьяного шулерского морока, я терялся на каждом шагу и впадал в отчаяние, ведь я вообразил себе, что стоит зайти за угол, окликнуть, и я найду то, что ишу, но тут за углом – ещё углы-разуглищи, друг на друга налезали, ерзали, будто я глядел на мир через какой-то неистовый калейдоскоп.

Так не могло продолжаться, и я решил, что стоит разузнать у прохожих. Они всегда всё знают. Мы спрашиваем у них о том, как пройти на улицу Калючинскую или на площадь Нызенгауза, но никогда не удосуживаемся спросить о Синих Свитерах и бликах на потолке, о любви и о смерти. И вот я нагнал прохожую и спросил – не о Нызенгаузе и не о Калючинской. Но она закричала на меня:

– У вас совесть есть, мужчина? Или у вас вместо совести – пуговица? Или шпоры у вас на пятках вместо совести?

И личико у неё стало малиновое и обиженное. И ручки у неё хлесткие, как наподдала с размаху – так и потекло из носу. Больно.

– Идите вон!

Я был сражен наповал, мне стало нехорошо. Нет! Не спрашивайте прохожих о неприличном...

И от того, что меня отхлестали так, вовсе мне не сделалось легче искать, вовсе не веселее, так и потерялся – дни, дома, варежки с шестью пальцами, не помню, не помню, как оно было дальше, помню, женщины с обескровленными лицами догнали меня где-то на полпути к Замковой улице, они хватали меня и упускали, целовали и ругали, и вот затащили в подворотню, анемичные вакханки, и излюбили. И было этих женщин то семь, то четыре, а под конец – восемьдесят девять. И я смотрел им в глаза – то семи, то четырём, а в особенности – восьмидесяти девяти. И там я видел нашего мальчика, не рожденного в апреле и нашу доченьку-хаврошечку, не рожденную в среду, в четыре часа, когда клёны под роддомом так расшумелись, что она нахохлилась и осталась навсегда в багровом подвальчике – сторожем. И смотрели они на меня – наши двое нерожденных детей и глаза у них были папины и мамины. А я преисполнился горечью и выбирался из-под груди семи или из-под вороха четырёх, а то и из-под горы восьмидесяти девяти и понимал, что никак мне её в них не застукать – уж больно хорошо она прячется.

И я искал даже на кладбище – таком осеннем, неспешном, гостеприимном – может, здесь? Вот кто-то в синем свитере – с венком. Ну же!

– Здравствуй, вот и ты!

Оборачивается, чужой человек с родным лицом:

– Да, я, да не я-то.

И улыбается, а глаза чужие-пречужие, хоть и свитер синий, синтетический такой, с белой полоской. Её свитер. И лицо её – изученное, исцелованное, избежавшее, убегающее, вещее, но – глаза, ах, не те глаза, ну разве её глаза такие? Обознатушки.

Посмотрел на могилы, почитал, что пишут на них – тут, мол, студент Себякин лежит, там – Яков Померанский, и даты, и вензеля всякие. Вот и такое написано – "Милый мой искатель, пристегни свой страх, я-то уже дома, а ты ещё в гостях". И снизу – золотистый лавр, золотистое, благоспокойное, стилизованное, оправдывающее, нерушимое всеточие. И стали по сторонам моим в пеленочки завернутые греки и римляне, и посмотрели на меня, в том смысле посмотрели, что, мол, если уж лавр, да еще и золотистый, то не обессудьте – всё навечно, всё нетленно и правдиво. И грозили они мне копьями аркебузами и баллистами, а один – придурочный, наверное, фонарем – попробуй, усомнись. Я бочком-бочком, за ограду, за крест, за чужеглазую в родном свитере – прочь с кладбища, но в ушах неумемно – "...я-то уже дома, а ты ещё в гостях... пристегни свой страх" и вот ещё – эта неумолимая, солидная, всегдашняя печать-лавр!

Я проиграл прятки, сам став картой в чужой кособокой колоде, я поддался – не найти мне Синий Свитер. Вот так, спяну, потерявшись самому, тяжело даже найти в кармане зажигалку, не то что любовь всей своей жизни.

Вокруг стало тихо, я стоял, прислонившись к кладбищенской ограде с закрытыми глазами и когда я открыл глаза, вокруг было тихо и я стоял с открытыми глазами, прислонившись к кладбищенской ограде.

Комарыха всё ещё стучала в моё сердце. Я приуспокоился, отдышался и прислушался к себе в этой ночной тишине. Всполохами памяти появлялось на чёрном горизонте откомандированной жизни самое хорошее, молнией озаряло каждый уголок моей недалёкой человеческой вселенной.

И вспоминались мне на этом погосте какие-то глупости: как солнце светило в зашторенное окно, одуванчики, пачкающие нос жёлтым, или как впервые увидел море, но моменты эти, несмотря на всю свою обыкновенность, высвечивали самые недостижимые, забытые, далёкие своды души всё глубже, всё роднее. И становилось легче, дышалось смелее.

И когда по таким моментам, как поезд по станциям, я проезжал да вспоминал заново всю свою жизнь, она уже не казалась такой никчемной и глупой, она становилась лёгкая и светлая вся – как и те моменты.

Но как ни старался, мне никак не удавалось вспомнить о себе ничего конкретного, ничего такого, чтобы приосаниться и сказать – вот он я, Такой-то Такойтович Растакрой-то, такого-то года рождения и так далее. Из меня будто бы была изъята вся документальность, детальность, конкретность. Я знал, что есть я и есть Синий Свитер, но не знал какой у меня размер обуви и как звали моих родителей, зато отчетливо помнил, как ещё в омпетианские времена в пионерском лагере я сидел на берегу лесной речки и смотрел, как стремительная форель плескалась, охотясь на вылетевшую подёнку и как мне было хорошо и как скверно было той подёнке.

Мечтания мои и копошения в виртуальных чемоданах с воспоминаниями прервал мерный звук. Это было громкое шёпотное шуменье, медленное, приближающееся шарканье, я огляделся по сторонам, но вокруг была лишь пустая тёмная улица, мощёная цветной брусчаткой, только в конце улицы, на углу едва покачивался от ветра электрический фонарь. Тут к шарканью присоединился ещё один звук – будто сто человек зевали одновременно, и жевали что-то, и хрипели, и сморкались. Станные эти звуки становились всё громче и вдруг из-за угла появились люди, разом заполонив всю мостовую.

Толпа медленно лилась по улице и вскоре почти сравнялась со мной, и я смог разглядеть эту чудаковатую процессию поближе. Казалось, это была какая-то демонстрация или митинг: люди несли транспаранты и плакаты, но это были лишь грязные засаленные куски ткани и захватанные прямоугольники ватмана без единого слова или символа – просто пустые, ошелом-

мительно пустые. Люди шли не в ногу, но ритмично, воодушевленно, порой спотыкаясь и теряя равновесие. Я не сразу понял, что меня так сильно насторожило и испугало в них и лишь когда они подошли совсем близко, меня прошиб холодный пот и я почти полностью протрезвел. Все демонстранты спали: кто-то шёл с закрытыми глазами, кто-то таращился невидящими бельмами в ночь, но все они были спящими. Будто живые мертвецы, в пижамах или ночных рубашках, в ночных колпаках, с плюшевыми игрушками подмышкой или торжественно неся в руках ночной горшок, они шаркали и спали, спали и шаркали, и кое-кто храпел, а кто-то постанывал сквозь сон. Но это была не единственная жуткая вещь, манифестанты то и дело пытались что-то выкрикивать, но над толпой раздавался лишь глухой клёкот и шипение. Против чего они протестовали? Кем они были и куда направлялись?

Нелепое шествие совершенно неожиданно кануло восвояси, исчезло за углом, как болезненный кошмар, юркнуло куда-то, унося и моё волшебное шаманское опьянение, ослабляя душасщее объятие самогона, которым меня угостил неживой граф.

Однако город оставался волшебным, загадочным, многомерным.

И мне открылось вдруг, что вечерний Хротна – это исключительно прекрасный город.

Графинчик соврал, говоря, что здесь не видно людей, потому что мы встретились утром. Здесь всегда есть люди, даже слишком много людей. Просто большинство из них предпочитает ходить поодиночке, в собственном измерении, путаясь в своих собственных тропинках, выбирая бульвары без пробок, выбирая магазины без очередей, выбирая свои персональные январы и подогнанные под цвет глаз юнии, выбирая просторные тротуары и пустые автобусы.

Но стоит выйти из многорюмочной и щёлкнуть пальцами, и ты увидишь – улицы переполнены. Здесь шагают купцы, разодетые шляхтичи, королевская стража, пэпээсники, пани, панове и судари, господа и товарищи. Кто-то строем в шинелях, кто-то маршем в бушлатах, кто вразвалочку в черных косухах. Девчонки в истошно-бирюзовых лосинах бегут на концерт Юры Шатунова, цветастые хиппи в расклешённых штанах попивают портвейн и выгуливают петуха на цепочке, рабочий несет первомайский плакат, эсэсовец в черепастой фуражке направляется в комендатуру, проезжий раввин Иехиэль спешит к другу Пшемеку в гости – люди всех времен и всех правд, все, когда-либо жившие прежде и живущие ныне, ходят, ждут с букетами дам, сидят на скамейках, танцуют, гуляют, хромают, спешат, маршируют и вприпрыжку бегут – все одновременно, проходя сквозь друг друга, проходя сквозь дома и века, проживая один общий день, при желании не пересекаясь.

И лишь щёлкнешь пальцами трижды – давний, нынешний, будущий хротненский люд заснуёт, затолпится, заиграет, наложится сам на себя, и ты встанешь за кумпяком, салцесоном или палендвицей в очередь в мясной лавке за собственным прадедом, а следом за тобой придет твоя мама, спросит, кто тут последний, а за ней твои внуки и правнуки – если пальцами щёлкнешь трижды, в этом городе станет тысячежды многолюдно.

Я вернулся в гостиницу уставший, ошарашенный, безумный, но с каким-то приятным воодушевлением.

Ну что ж.

4. Зов Комбината

Как только я переступил порог гостиницы, то сразу же ощутил насколько иначе здесь, внутри, течёт время. Осталось позади фонтанирующее, стихийное, непокорное хротненское течение жизни. Гостиничные же секунды были предсказуемы, они неспешно потягивались, будто сонные кошки, неторопливо переваливались с боку на бок, они выдвигались, раскладывались, как телескопические удочки, теряясь в полутьме холла. Мне стало неловко, показалось, что я совершил какое-то неуместное святотатство, так, с разбегу нырнув в эту траурную болезненную темень, будто клоун, перепутавший адрес, и с хохотом, жонглируя апельсинами, ворвавшийся на панихиду вместо детского праздника.

Пани Гловска встретила меня за конторкой; несмотря на позднюю пору, она не спала.

– Не делайте так больше, прошу вас, – сказала она, – я очень за вас волновалась, вы когда уходили, были просто в каком-то амоке, будто заколдованы. Впрочем, возможно в этом моя вина, не уберегла вас от Графинчика, простите.

Голос у неё был тихий и слабый, неохотный голос, такой бывает у людей после того, как они долго плакали, и мне стало ужасно стыдно, что я заставил её беспокоиться и был груб с ней, когда она пыталась меня образумить. Прежде, чем я успел открыть рот для извинений, она шикнула на меня и строго приложила палец к губам.

– Помолчите и послушайте. Вы многого не знаете об этом городе. А я здесь провела всю свою жизнь и, поверьте мне, если вы прислушаетесь к моим советам, то избежите многих неприятностей. Сейчас уже поздно, отправляйтесь спать, а утром за завтраком поговорим. Не говорите ни слова и марш наверх. И... я не обижаюсь на вас, я просто очень устала.

Она вручила мне керосинку и кивнула, чуть улыбнувшись на прощание. Я поднялся в номер и встал у окна, ошеломлённый, взволнованный, сконфуженный и злой на самого себя.

Я закрыл глаза, пытаюсь сосредоточиться и как-то осознать происходящее, но в голове было столько мыслей, что в какой-то момент я перестал сопротивляться их навязчивому мельтешению и просто медленно и глубоко дышал, считая вдохи и постоянно сбиваясь. Я простоял так некоторое время и немного успокоился, было совершенно непонятно сплю я или нет, под веками вдруг мелькнула яркая движущаяся картинка – корабль на всех парусах, стремящийся вырваться из неистового ночного шторма. И этот фрегат... неужели...

Кажется, я узнал его...

Всё как сон, а сон – как всё. Там, за порогом гостиницы с неоновой вывеской “Неоновая вывеска” – спал ли я? А может, я сейчас сплю? Просто если это действительно тот корабль, который я знаю, то...

В глухом нутре пожилого, изношенного, неуместного отеля, в обители угасающего, истрадавшегося, но достойного и отважного шляхетского рода, в строгом, но справедливом царстве полюбившейся мне пани Гловской, я чувствовал себя немного спокойней, чем на улицах Хротны и где-то под сердцем замурлыкал вдруг славный тёплый кот и совершенно неожиданно для меня, на поверхности моего сознания будто масло по воде стало растекаться, расти, обволакивать, доминировать то особое чувство безопасности и уюта, которое бывает только когда ты дома.

Мысли мои замедлились, хоть я по-прежнему не успевал за ними, стало чуть легче. Я встряхнулся и будто протрезвел, очнулся от морока, поднял голову, выныривая из хищной мути оцепенения, и увидел себя в засвеченном, пасмурном, ототражавшем своё уже с полвека тому назад зеркале. Вид у меня растрёпанный и очень комичный, я улыбнулся и подмигнул своему отражению.

И постепенно все случившееся ночью во время этой пьяной, надрывной, кошмарной, но и магической, без всякого сомнения, эскапады стало преображаться, перестраиваться, выво-

рачиваться наизнанку, менять знак с минуса на плюс, мигающий жёлтый свет – на зелёный. И теперь всё мое непристойное бредовое жуткое приключение распустилось вновь обретенной радостью, редкостной улыбкой судьбы, подарком из подсознания, нужным ответом на мой вечно транслируемый сигнал SOS, сухпайком для изголодавшегося по любви в своей жизни доходяги. Мне показалось, что объяснение, хоть и немного странное, все-таки найдено – это мой старый добрый корабль-сноносец.

Дело в том, что ещё в раннем детстве мне начал сниться особенный, сугубый, спасительный сон, часто после того, как случалось что-то плохое или страшное. Каждый раз мне снилось что-то новое, но был в этом сне и один постоянный, всегда присутствующий мотив, отличающий его от других, заурядных сновидений – тот самый корабль.

Это был милосердный и верный сон, потусторонний дружище, сон-лекарь и сон-наставник. Он показывал известные мне по дневной жизни важные и не очень вещи, людей, пейзажи, но под необычным, волшебным углом, знакомя со всем моим дневным миром заново, накрепко, *по-честному*. Он показывал привычную игру солнечных зайчиков на бабушкином трюме, но я смотрел на это, как на чудеснейшее из чудес, сон давал потрогать папину щетину, и я был рад этому шансу, потому что папы давно уже не было, сон показывал восхитительную мамину улыбку, которую в реальной жизни надолго прогнали с лица заботы и переживания, во сне я снова мог вспомнить вкус какао из термоса в бесконечной утренней пуще, когда покойный дед впервые взял меня на охоту с ночёвкой. А ещё я встречал там себя, отчего ненадолго становилось с собой хорошо и спокойно.

Позже я понял, что всё, что преподносил мне сон, в общем-то так или иначе было о любви, любви, которую я увидел или проглядел в своей жизни, любви к самой жизни, любви к себе. И каждое утро после таких снов я просыпался самым счастливым человеком в мире. Я замечал любовь вокруг и радовался каждому её проявлению, я видел красоту там, где прежде видел лишь дерево или конопатую вредную Снежану из параллельного класса. К сожалению, мне не удавалось надолго сохранять это исключительное, святое, доброе и всеобъемлющее состояние. И уже к вечеру я обычно снова ненавидел гадкую Снежану, забывал как выглядит мамина улыбка и, вместо теплой и колючей папиной щеки, гладил безучастную квёлую шубу на вешалке в прихожей и тихонько плакал.

Все эти прелести, все видения любви и красоты доставлял из заброшенных тоннелей памяти в акваторию моих сновидений неуместный, мрачный, больной и безлюдный, спасательный сноносец-фрегат. Во сне я сначала всегда оказывался на корме корабля и бродил повсюду, пока не находил свой заветный подарок – то в трюме, то в кают-компании, то на горизонте, то в загадочных водах за бортом, то в чернильных закорючках бортового журнала – мне нравились эти прятки, и как мне казалось – фрегату тоже.

Этот корабль, мой безымянный *deus ex aqua*, не знал порта приписки, был быстр и чорен, и вместо флага на мачте трепыхалась чаще всего смирительная рубашка, изредка – “Веселый Роджер” и лишь однажды он плыл под моим личным флагом. Он был своеобразным почтовым вариантом “Летучего голландца”. Скользил по своим делам на полных парусах, с упорством воистину раскаявшегося за свои грехи злодея, который хочет наверстать не причинённое добро и искупить причинённое зло, в далёком, безответном и недостижимом для тех, кто не спит, океане. Ещё мне представлялось, что мой угрюмый, но добрый фрегат приносит сны не только мне, что это не просто навязчивая игра разума, а ненавязчивая забава богов, но не стоило в это вникать, нужно было просто учиться и быть благодарным.

И вот теперь, когда я на мгновение увидел свой старый добрый сноносец-фрегат, спасающийся от бури, я воспрял духом, потому что мой потусторонний товарищ был рядом, потому что он всегда спасал меня, потому что в том неправильном, чужоватом, искажённом Хротне мне его так не хватало. А теперь он тут.

Я закрыл глаза в своем гостиничном номере, а открыл их уже там, на палубе сноносца. Буря удалялась и ветер немного поутих. Я снова стоял на знакомой корме, чувствовал запах моря и вдыхал наполненный лихой свежестью уходящей бури воздух. Все было так реально, что я больно ушипнул себя. Я закрыл глаза на палубе – и в тот же момент они открылись в моей комнате. Ну и ну!

Видимо, со мной случилось то, что обычно называют сон наяву. Признаюсь, мне было не по себе, я никогда прежде не видел снов наяву, и если они так и должны были выглядеть, то меня это пугало. Фрегат никогда не снился мне *так*.

Но всё же там, за закрытыми веками, я узнал с первого взгляда знакомую мне по тысячам снов полуночную палубу и издевательскую смирительную рубашку вместо флага. Это ведь точно был мой любимый фрегат, к чему волноваться? Ёжась от всё ещё прохладного ветра, я спустился в капитанскую каюту и, оглядевшись немного, увидел – вот он, вот какой подарок привез мне мой спасательский мытарь!

Там, над столом картографа висела изящная акварель авторства Жозефины Ордэ: вид старой средневековой Хротны со стороны реки. Подарок мне – эта старинная картина? Я с нетерпением ждал, что, как обычно, когда я оказывался на фрегате, подарок станет проводником в благодатную нирвану, билетом на сеанс вселенской любви. Но как только я стал присматриваться к рисунку – всё исчезло, и сколько я не моргал, вокруг был только 11-й номер. Я совсем запутался и запаниковал.

Все, что случилось в этот день до моего возвращения к пани Гловской, представилось мне ненадолго просто неопределимым подарком, хоть и неоднозначным. Фрегат-сноносец отчалил, сон кончился, но мне не стало хорошо. Приснись мне такое при других обстоятельствах, я бы, едва открыв глаза, наверняка вскрикнул что-нибудь вроде:

– Эй, Хротна, представляешь, я люблю тебя – даже во сне!

А потом я скорее всего отправился бы на весь день бродить по городу, пить кофе, мечтать на лавочке в парке, карабкаться на стены Старого Замка и сидеть на набережной, долго глядя на воды родной реки. И вечером шёл бы домой счастливый, потому что это хорошо, когда ты живёшь в месте, которое любишь.

Но на этот раз чуда не случилось. Да и сон этот был наяву, как-то всё коряво произошло; из-за водоворота моих презанятнейших приключений, странной, никогда прежде не отмеченной мною неспособности сфокусироваться, я опешил.

Выходил ли я из отеля на самом деле, а может просто пьяный уснул у входа? А может я попросту двинулся рассудком, и моё глумливое безумие редактирует, цензурирует, подделывает мою жизнь? Чем больше возникало вопросов без ответов, тем отчаяннее я себя чувствовал, с ужасом вспоминая всё больше деталей, которые я прежде игнорировал.

Чорт, теперь я ничего уже решительно не понимал ни о себе, ни о Хротне, ни о цели своей командировки. Прибывший мне на помощь сноносец был из другой жизни, другого детства, иного, но очень похожего города, а та прежняя жизнь, то всамделишное хротненское детство, тот исконный, мой собственный омпетианский Хротна – вдруг стали шахматными фигурами в заоблачной, беспощадной, уже давно разыгрываемой партии. И как только я понял, что я в игре, мне поставили шах.

В порыве замешательства и нелепого отчаяния, я, пребольно ударившись коленом обо что-то карательно-мебельное, шагнул к запретному слюдяному окну, рванул ржавые, покрытые многолетними слоями краски шпингалеты. Казалось, гостиница заметила это и застыла, затаив чахоточное дыхание, будто кинозритель в решающий момент фильма, который впиается в ручки сиденья, забывает о попкорне и ждёт: сейчас каааак жажнет!

Окно застонало, дважды или трижды вскрикнуло жалостно, по-птичьи, затем сжало ещё раз из последних сил суковатые крепкие губы рам и наконец поддалось; обе створки распахнулись наружу, и я чуть не вывалился, поскользнувшись на подоконнике.

Оказалось, что окно, эта обманчивая слюдяная *attrape*, показывало вовсе не то, что было по ту сторону на самом деле. Вместо прежнего скучного ржавого безлюдного запустения, с безнадёжностью которого я уже почти свыкся, передо мной предстал красивейший вид на широкий ночной проспект, утопающий в зелёных каштанах и ивах, подсвеченных по всей протяженности редкими уличными фонарями. Тут же неприятно кольнуло – а ведь Пани Гловска запрещала открывать окно в номере... Ну что ж.

Всё так же сияли и сказочно пахли цветущие каштаны, и гулко молчала довольная летняя ночь, серая кошка увлеченнейше кралась за своей тенью в старую браму, где-то в спящих дворах целовались на прощанье влюбленные, и беспечно дремали в невесомом безветрии жестяные ангелы на крыше костела, время города тугой плавной волной омыло моё лицо и хлынуло в гостиничную комнату, ласковое, простое. Я был рад оказаться на обочине ночи неважным, третьестепенным, несущественным наблюдателем. Быть вне фокуса странных событий, на периферии привычного, не враждебного времени, привеченным умиротворённым полуночником.

Я свесил ноги с подоконника и закурил сигарету. И нет, не разверзлись хляби небесные, не ворвались в мой номер жандармы, не страбастала, не прижала к себе ревниво старуха-гостиница, и не постучала Пани Гловска, не напал, не озверился каштановый тихий проспект; мне на миг показалось, что здесь, за окном гостиницы, искаженный прежде слюдяным обманом окна и жил тот верный, незыблемый, вседействительный Хротна. Тот, откуда явился сноносец-фрегат, тот, в котором я не командировочный, не гость, не бегущая лань и не сон. Тот, в котором мне не шах и не мат.

Но не успел я выкурить и половину сигареты, как снаружи раздался странный протяжный звук, разлетаясь повсюду по городу. Этот звук был похож на женское контральто, он коротко прошелся по нескольким нотам, будто выбирая нужные и, найдя три мажорных тона, голос стал нарастать. С крыш сорвались разбуженные голуби, стали зажигаться одно за одним окна домов, а голос тянул всё громче, непрерывно, как сирена, в нём уже не оставалось ничего женского, появилась какая-то древняя неведомая глубина, что-то недоступное разуму, но известное каждому с тех времен, когда разум был куц, и мы спали вповалку в пещерах и кутались в оленье шкуры.

На проспекте разом зазвучали человеческие шаги, много шагов, вразнобой – и спешных, и медленных, и спотыкающихся – отовсюду на улицу выходили люди; я увидел сначала лишь несколько силуэтов, но уже через мгновение широкая людская река полилась по бульвару, занимая проезжую часть и тротуар, затемняя волшебные белые свечи каштанов, растаптывая ночное чуткое молчание. Неужели это опять спящие манифестанты, которых я увидал в городе вечером?

Колдовское контральто достигло предела громкости, но теперь колыхалось, менялось, чудило, чередуя, сплетая три звука в неслышанной мантре – в ней слышалось и величие гимна, и бравада военного марша, и сплоченность покосных и жатвенных пений, и упрямое рондо бурлацких заповок.

Толпа оказалась уже прямо под моим окном и я смог разглядеть всё вблизи. Меня удивило, что я не заметил внизу ни одного мужчины или мальчика. Молча глядя под ноги, брели заспанные женщины, молодые и постарше, но не старые, не немощные. Как сомнамбулы, порой задевая друг друга и спотыкаясь, они шли в одном направлении, будто по компасу.

По какой-то причине этот предрассветный марш ничуть не напугал меня, в нём было что-то естественное, присущее нормальному порядку вещей, даже физиологическое, я не понимал, что именно происходит, но знал тем самым спинномозговым чувством, что и трехзвучная мантра, и сонливый исход женщин – часть порядка, часть мироустройства.

Я смотрел на шагающих женщин, как на реку, как на огонь; прошло много минут, когда вдруг мне показалось, что среди мерно шаркающих сероватых фигур я вижу Синий Свитер. Да вот же, точно она, этот профиль, походка – она!

– Эй, эй, привет! Ты помнишь меня? Постой! – выкрикнул я в окно и зажёл керосинку, чтобы привлечь внимание.

Но никто – ни Синий Свитер, ни другие не услышали или не подали виду, что услышали, продолжая свой монотонный поход. Неужели, она снова исчезнет? Мне пора брать всё в свои руки, пока это возможно, пока не вернулась эта разрушительная, путающая все забывчивость, пока помнился и воодушевлял мой спаситель-фрегат. Я посмотрел вниз, примериваясь можно ли спрыгнуть без особых увечий, было высоковато, однако справа почти под самым окном красовалась свежевскопанная клумба – отличное место, которое смягчит прыжок. Я свесился, держась за подоконник и, недолго думая, спрыгнул вниз, целясь в клумбу. Но как только ноги мои коснулись земли, клумба вздыбилась, провалилась под ногами, я пробил полиэтиленовую плёнку и рухнул в глубокую яму. Ловушка!

Я сильно ушибся, но смог встать. Яма под клумбой оказалась глубокая, в два, а то и три человеческих роста. Дно ямы было устлано еловыми ветками. Сырые, глинистые гладкие стены моей ловушки уходили вверх почти перпендикулярно полу, не оставляя мне особых шансов на самостоятельное спасение.

Отсюда, снизу мне было видно лишь немного беспокойного хмурого неба, в котором медленно и безуспешно пытались во что-то превратиться подсвеченные луной неуклюжие многослойные тучи. Это постоянное непревращение завораживало, заставляло следить за ним, ведь то и дело казалось, что я вижу то лицо, то фигуру, а то и целую фантазмагорическую драму, но лишь только какой-нибудь невзрачный облачный завиток распрямлялся, или наоборот закручивался, как иллюзия формы ускользала и игра начиналась снова.

Я стоял так, будто заколдованный, задрав голову и мне не хотелось ничего: ни пробовать выбираться из этой ямы, ни звать на помощь; мне подумалось, что в моей странной ситуации есть какой-то потусторонний мрачный юмор, злая метафора – ведь вся моя жизнь, вся жизнь, что вообще есть у человека, проходит так – в попытке придать смысл безучастному ночному танцу туч на куцем клочке неба, видимом со дна собственной могилы.

Не знаю, сколько я так простоял, не двигаясь – может минуту, а может и час, и неизвестно сколько бы ещё я оставался в этом недвижимом бездействии, но тут сверху что-то закопошилось, затопало, запыхтело. И возмущенный голос пани Гловской воскликнул:

– Я же просила вас не открывать окно! Ну, хорошо хоть прямёхонько в ловушку свалились!

5. Завтрак при свечах

Пани Гловска вызволила меня из клумбы-ловушки с помощью какой-то почти цирковой, бутафорской веревочной лестницы. Пока я карабкался по ней, мне то и дело казалось, что она оборвётся и я снова рухну вниз, однако всё прошло благополучно и мы вернулись в гостиницу через чёрный ход. Я здорово испачкался там, в яме, и пани Гловска загнала меня под душ, реквизировав грязную одежду для стирки и выдав взамен пушистый банный халат. Прикрывая дверь в ванную, она сказала:

– Как помоетесь, спускайтесь вниз, попьём чайку. I przy okazji trochę pogadamy². Я думаю, у вас накопилось много вопросов.

Вопросов действительно было много, однако после случившегося я впал в безразличие, мне было всё равно, я знал, что потом, наверное, мне снова захочется что-то узнать, понять, сформулировать, но теперь, стоя под обжигающим душем в своем одиннадцатом номере, я на самом деле так и оставался на дне цветочной ловушки и мне было наплевать, что, кто, где и почему.

И тут меня снова спасла пани Гловска. Она решительно постучала в дверь ванной.

– Вы там не смылились ненароком? Чай стынет, пожалуйста вниз, в банкетную! Жду вас в холле!

От этого бодрого стука я мгновенно очнулся.

– Да-да, простите меня, сейчас спущусь – ответил я, вытерся досуха, облачился в банный халат и вышел из номера.

Полумрак гостиничного коридора и надсадный скрип паркета нагнали на меня тоску и когда я сошёл в холл, то почувствовал себя совершенно разбитым, ненужным и потерянным.

Видимо, моё бедственное состояние было написано у меня на лице, потому что пани Гловска, ожидавшая меня возле конторки, рассмеялась:

– Ну и ну, командировочный! Что за мина! Вы будто гадюку проглотили! Давайте сейчас же – хвост пистолетом и марш за мной!

Она подняла со стойки керосинку, подмигнула мне, и пошла в сторону выхода из холла. Между портретов на правой стене оказалась небольшая ажурная калитка, которую в темноте гостиницы да без света керосинки я раньше не замечал.

Пани Гловска бесшумно отворила калитку, за ней угадывался узкий не освещённый коридор.

Рассекая темноту жёлтым больным свечением керосинки мы двинулись вперед по сводчатому пути.

До красных там была пристройка к гостинице, кухмистерская, с выходом на улицу Бонифратскую. Теперь там глухая стена, на которой пишут непотребности. А ресторация внутри осталась, и я там иногда накрываю для себя и для Графинчика.

Коридор разрешился просторным залом с высоким потолком, свет керосинки вырвался из узкого пространства и набросился, сразу обессилев, на огромную площадь комнаты, разряжаясь, слабей, утыкаясь в далекие углы под потолком, иссякая на рельефе причудливой резной черной столовой мебели, захлёбываясь черничной чернотой, разлившейся по паутинистым щелям.

В центре зала громоздилась похожая на корму древнего судна барная стойка, над которой висела грифельная доска с еле-еле различимой давнишней надписью мелом: *Wrześniowy szal! Przebojowe ceny! Dziś Mandaryn Kantorowicza oraz Gin krajowy Suchowola prawie za darmo!*³ За

² И, пользуясь случаем, мы немного поболтаем (польск.)

³ “Сентябрьское безумие! Отличные цены! Только сегодня – отечественный джин Суховоля и мандариновая настойка

баром стоял мужской манекен с огромными бакенбардами, на долю секунды мне показалось, что это живой человек и я вздрогнул. Манекен был одет во фрак и невидящим взглядом смотрел прямо на меня. Пани Гловска улыбнулась, погладила меня по плечу и сказала:

– Не пугайтесь, это Вольдемар. Он когда-то был хорошим кельнером, но теперь он не очень разговорчив. Я люблю обедать в его компании, всё-таки не так одиноко.

Вокруг барной стойки были расставлены длинные деревянные столы с лавками, один из столов был накрыт к завтраку. Завтрак при свечах, как странно, подумал я, усаживаясь.

– Вам, наверное, не приходилось прежде завтракать при свечах? – спросила пани Гловска, словно читая мои мысли, – Не робейте же, угощайтесь!

Она подвинула ко мне тарелку с эклерами и стакан в серебряном подстаканнике в восточном стиле. Чай был горяч и крепок, я сделал глубокий глоток, затем ещё и ещё и почувствовал приятную бодрость. Я схватил эклер с лазурной тортовницы и с удовольствием впился в него зубами. Некоторое время мы сидели молча, пани Гловска неспешно попивала чай и с каким-то странным выражением на лице рассматривала меня. В зале было гулко, будто в огромном музее и Вольдемар с его пушистыми бакенбардами тоже выглядел как музейный экспонат. Под высоким потолком раскорячилась ржавая кованая люстра, будто огромный, готовый атаковать в любую секунду паук, с выцветших плакатов на стенках таращились теперь потускневшие, но некогда весёлые люди. Мне подумалось, что если мы и дальше будем так сидеть, то, недолго час сами превратимся в замертвевших манекенов, или станем стилизованными двумерными героями на одном из рекламных забытых плакатов. Я понял, что поступил откровенно не вежливо, уничтожив единолично все пирожные. Наверное, я покраснел при этом, потому что пани Гловска отставила чашку и сказала:

– Не волнуйтесь, в моем возрасте не стоит злоупотреблять сладостями. Надеюсь, что вы хорошо перекусили?

– Да, большое спасибо!

Пани Гловска кивнула и подвинулась немного ближе:

– Если хотите, задавайте вопросы, хоть это будет и нелегко, но разумнее именно так поступить.

Я задумался, но внутри моей головы будто кукушонок в чужом гнезде, стал расти чёрный воздушный шар и этот воздушный шар вытеснил, примял, придушил все мои более-менее сложные вопросы, догадки, мысли, рефлексии. Мой разум стал разумом ящерицы, хватательно-толкательным сознанием варана. Спросить, спросить, о чём, о чём, о чём спросить? Я напрягся что есть мочи и произнёс, совсем не ожидая от себя:

– Как меня зовут?

Пани Гловска чуть улыбнулась:

– Вы все об этом спрашиваете... Я не знаю.

– “Мы” все? Кто это – “мы”?

– Командировочные, постояльцы гостиницы под неоновой вывеской “Неоновая вывеска”.

– Нас много?

– Хм... Не то, чтобы... Вас не много, вас – часто.

– Но я помню, что видел, как вы что-то написали в книге записи постояльцев, когда я прибыл.

– Ха-ха-ха, да, я всегда записываю командировочных как К. И вас записала так же – номер 11 – господин К. Хотите, я буду вас называть господин К.? Или товарищ К., если вам это больше по нраву.

– Зовите, как хотите, но объясните – что же случилось-то этой ночью?

– Вы послушались меня, распечатали охранное окно, услышали Зов Комбината и последовали за ним. Но Зов Комбината не для ваших ушей. Мужчинам негоже идти за Зовом Комбината.

– Почему?

– Это женское предприятие. Я знаю, мужчины часто непослушны и поступают вопреки просьбам женщин, поэтому под окнами гостиницы я попросила вырыть специальные уловители. И, как понимаете теперь – не зря. Каждый раз какой-нибудь командировочный нет-нет, да и брякнется туда. Вам бы очень не повздорилось, если бы вы попали на Комбинат, пойдя на Зов.

– А что там делают, на этом Комбинате?

– Там шьют, латают, штопают, что же ещё.

Тугой чорный воздушный шарик внутри моего черепа теперь чуть сдулся, уступая место мыслям, которые тут же хаотично зароились, проносясь с такой скоростью, что мне было тяжело сосредоточиться хоть на одной из них и сформулировать следующий вопрос. Пани Гловска улыбнулась и сказала:

– Просто спрашивайте, говорите первое, что придёт в голову, не пытайте себя. Так будет проще.

– Да? Хорошо.

И тут же, не думая, я спросил:

– Откуда я? Почему мне кажется, что я отсюда, из Хротны, но одновременно я знаю, что это не так?

– То, что вам кажется и есть правда. То, что кажется прямо сейчас. А то, что будет казаться потом станет правдой потом. Откуда вы? Вы сошли с поезда. Где вы? Вы там, где сошли с поезда.

– Но почему я знаю Хротну как будто это мой город и в то же время всё какое-то иное, незнакомое?

– Может, вы бывали здесь раньше, когда-то давно, ещё до *городокрушения*... Знаете, некоторые постояльцы, которые приезжают сюда по делам – из Непеременска или Сон-Петербурга тоже говорят, что город не узнать.

– *Городокрушение*? Что такое *городокрушение*?

Пани Гловска тяжело вздохнула и оперлась локтями о стол. Она посмотрела на меня так, как смотрит взрослый на ребенка, когда тот спрашивает почему хомячок больше не шевелится и не хочет играть или почему баба Шура со второго этажа лежит недвижимо в деревянном ящике возле подъезда и люди вокруг неё плачут. Она на мгновение закусила верхнюю губу, стараясь подобрать нужные слова и сказала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.